

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вера Мильчина



«И ВЕЧНЫЕ  
ФРАНЦУЗЫ...»

Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы

Научная библиотека

Вера Мильчина

**«И вечные французы...»:  
Одиннадцать статей из  
истории французской  
и русской литературы**

«НЛО»

2021

**Мильчина В. А.**

«И вечные французы...»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы / В. А. Мильчина — «НЛО», 2021 — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481494-9

Русско-французские культурные и литературные связи насчитывают не одну сотню лет – неудивительно, что они оставили след в творчестве самых известных авторов: Пушкина, Лермонтова, Вяземского, И. С. Тургенева. Помещая произведения русских и французских писателей в международный контекст, Вера Мильчина, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС, приходит к неожиданным результатам. Кросс-культурный анализ помогает увидеть, что Пушкин и Вяземский понимали роман Бенжамена Константа «Адольф» не совсем так или даже совсем не так, как их французские современники; что Пушкин относился к двум «мэтрам» французской словесности – Стендалю и Виктору Гюго – с пренебрежением и даже неприязнью, а «канонические» русские переводы Бальзака в некоторых случаях сообщают нам совсем не то, что написано в оригинале. Эти и другие сюжеты показывают, каким непредсказуемым может оказаться процесс адаптации литературного произведения в чужой культуре.

ISBN 978-5-44-481494-9

© Мильчина В. А., 2021

© НЛО, 2021

## Содержание

ОТ АВТОРА	5
I. О людях и репутациях	6
«ЧЕЛОВЕК ОСТРОГО УМА СКАЗАЛ...»	6
ПУШКИН И СТЕНДАЛЬ	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# **Вера Мильчина**

## **«И вечные французы...»**

### **Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы**

#### **ОТ АВТОРА**

Одиннадцать статей, включенных в эту книгу, объединены не только предметом рассмотрения – русская и французская литература XIX века. Герои статей – авторы по преимуществу очень известные: Пушкин, Лермонтов, Вяземский, И. С. Тургенев; Гюго, Стендаль, Бальзак, Ростан. Но анализ приводит всякий раз к неожиданным результатам: выясняется, что Пушкин и Вяземский понимали роман Бенжамена Констана «Адольф» не совсем так или даже совсем не так, как их французские современники; что Пушкин относился к двум писателям, которые сейчас считаются «мэтрами» французской словесности: Стендалю и Виктору Гюго, – с пренебрежением и даже неприязнью; что сардинский посол в России и религиозный мыслитель Жозеф де Местр вовсе не был таким светским говоруном, каким его принято считать, а в «героической комедии» Ростана прячется воспоминание об иронической новелле Шарля Нодье. В случае же с Бальзаком неожиданность заключается в том, что «канонические» русские переводы в некоторых случаях сообщают нам не совсем то или даже совсем не то, что написано в оригинале.

Заглавия нескольких статей кончаются знаком вопроса. В принципе вопросительную форму можно было бы придать всем одиннадцати статьям, потому что импульсом к написанию каждой было желание разгадать некую загадку: почему Иван Сергеевич Тургенев утверждал, что государственные мужи, желая понравиться набожной католичке, читали философа-сенсуалиста? Какую «юную Францию» имел в виду Лермонтов, когда рассуждал в «Тамани» о «породе в женщинах»? С какой целью французский переводчик «Капитала» вставил в текст отсебятину, которой нет и не было в немецком оригинале? Имеются ли русские параллели у чрезвычайно популярного во французской литературной критике понятия «литературная приязнь»? Всегда ли можно объяснить, зачем русские дворяне в начале XIX века переходили в разговоре или в письмах с русского на французский?

Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в предлагаемом сборнике.

Книга состоит из трех разделов: «О людях и репутациях», «О словах и фразах», «О переводах и переходах», но во всех статьях речь идет по большому счету об одном и том же – о том, как люди распоряжаются своими и чужими словами, о том, как строят из них тексты и репутации.

Я посвящаю эту книгу моему мужу Борису Ароновичу Кацу – и не только потому, что он подсказал мне ее название.

## *И. О людях и репутациях*

### **«ЧЕЛОВЕК ОСТРОГО УМА СКАЗАЛ...» ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР КАК МАСТЕР СВЕТСКОЙ БЕСЕДЫ**

За Жозефом де Местром (1753–1821), религиозным мыслителем и дипломатом, сардинским послом в России в 1803–1817 годах, прочно закрепилась репутация блестящего светского говоруна, мастера остроумной реплики.

Так судили о нем многие современники и в том числе Жермена де Сталь, которой принадлежит фраза, приведенная в заглавии этой статьи. В книге «Десять лет в изгнании» Сталь по крайней мере дважды<sup>1</sup> процитировала максимы, принадлежащие человеку «выдающегося» или «острого» ума<sup>2</sup>, и хотя имя Жозефа де Местра (с которым Сталь общалась в русских салонах во время своего короткого пребывания в Петербурге в августе 1812 года<sup>3</sup>) ни в одном из этих случаев не названо, принадлежность ему этих максим без труда удостоверяется сопоставлением с его сочинениями и письмами. Первая фраза, приведенная Сталь со ссылкой на «человека выдающегося ума»: «Желание, овладевшее русским народом, способно взорвать город» [Сталь 2017: 148], – не что иное, как довольно точный пересказ мысли, высказанной Местром в первой из «Четырех глав о России»: «Пишущий эти строки не раз говорил (и надеется, что болтовня его была не лишена смысла), что, „если бы можно было запереть русское желание в крепость, оно бы эту крепость взорвало“» [Maistre 1859: 21]. Между прочим, до 1859 года, когда «Четыре главы» были впервые напечатаны, именно книга Сталь была источником, откуда это эффектное высказывание Местра могли черпать собратья по перу; именно оттуда почерпнул его Астольф де Кюстин, написавший в конце 29-го письма своей «России в 1839 году»: «Русские умеют желать» [Кюстин 2020: 576]<sup>4</sup>. Близкая параллель ко второй цитате из Местра в книге Сталь («Человек острого ума сказал, что в Петербурге все окутано тайной, хотя ничто не остается в секрете; в самом деле, рано или поздно истина, конечно, становится известна всем, однако привычка к молчанию так сильна в русских царедворцах, что они скрывают сегодня то, что должно стать явным завтра» [Сталь 2017: 163] содержится в его письме к графу де Фрону, датированном 1812 годом:

Почтение к власти существует повсюду <...>, однако в каждой стране оно принимает особую форму. В России, например, оно бессловесно. Таким оно было в старину, таковым осталось и по сей день. Вознамерься – как это ни невероятно – российский император сжечь Санкт-Петербург, никто не

<sup>1</sup> В третьем случае, где «человеку острого ума» приписано сравнение с пьесами Шекспира, где «все, в чем нет неправильности, возвышенно, а все, в чем нет возвышенности, – неправильно» [Сталь 2017: 144], отождествление этого остроумца с Местром носит гипотетический характер.

<sup>2</sup> Если верить французскому поэту Шендолле, близко знавшему госпожу де Сталь, она даже называла Местра человеком гениальным [Sainte-Beuve 1849: 742].

<sup>3</sup> Это была не первая встреча госпожи де Сталь и Местра; они познакомились в 1795 году в Швейцарии и, как вспоминал позднее Местр, «забавляли жителей Лозанны богословскими и политическими спорами» и «представляли зрелище пресмешное, однако же никогда не ссорились» (цит. по: [Darcel 1992: 53]). В то время Местр относился к Сталь, которую в старости ему случалось гневно именовать «наглой бабенкой» [Maistre 1886: 14, 142; письмо к П. Б. Козловскому от 20 августа 1818 года]), с заинтересованностью и симпатией. Между прочим, если Сталь сохранила для потомков афоризмы Местра, то однажды и Местр «ответил ей взаимностью»: в одном из своих писем запечатлел остроумную реплику, сказанную ею по поводу проповеди, произнесенной его братом-священником: «Господин аббат, я выслушала вашу проповедь об аде: вы совершенно отбили у меня охоту туда попасть» [Maistre 1884–1886: 13, 338; письмо к шевалье де Росси от ноября 1809 года].

<sup>4</sup> Впрочем, трудно сказать, знал ли Кюстин, мысль какого именно «человека выдающегося ума» он повторяет в данном случае: в 1843 году, когда вышла его книга, до публикации «Четырех глав о России» оставалось еще 16 лет.

сказал бы ему, что деяние это сопряжено с некоторыми неудобствами, что даже в холодном климате нет нужды устраивать такой большой костер, что этак, пожалуй, из окон вылетят стекла, обои почернеют, а дамы перепугаются и проч.; нет, все бы промолчали; в крайнем случае подданные убили бы своего государя (что, как всем известно, отнюдь не означало бы, что они не питают к нему почтения) – но по-прежнему не говоря ни слова [Maistre 1884–1886: 12, 180]<sup>5</sup>.

Госпожа де Сталь знала толк в светской беседе, она сама мастерски владела искусством паразитить собеседника остроумной и эффектной репликой, поэтому тот факт, что она сочла необходимым привести в своей книге несколько афоризмов «человека острого ума», лишний раз подтверждает то, на чем настаивают почти все мемуаристы, писавшие о Жозефе де Местре: в искусстве беседы превзойти его было очень трудно. Местр беседовал блестяще; это не подлежит сомнению; вопрос лишь в том, была ли эта беседа *светской* в том смысле, в каком понимали это слово его предшественники и современники. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала попытаться понять, *каким образом* Местр вел беседу.

Судить об этом нам позволяют прежде всего его письма: во-первых, в них он зачастую ссылается на свои или чужие устные разговоры и не без гордости пересказывает свои особенно блестящие реплики<sup>6</sup>, во-вторых, сам стиль этих писем очень схож с его устными монологами, сохраненными для нас мемуаристами или самим Местром, так что чтение писем позволяет хотя бы отчасти понять, чем именно пленял Местр своих салонных слушателей. Приведем для начала несколько фрагментов из писем, где Местр пересказывает свои разговоры. 29 ноября/11 декабря 1803 года он излагает своему сардинскому начальнику по дипломатической части шевалье де Росси свою беседу с другим дипломатом – секретарем французского посольства в Петербурге Реневалем:

Разговор шел о французской революции и всех порожденных ею бедствиях; я сказал ему: «Чем, скажите на милость, вы недовольны? Разве вы не объявили Господу: „Мы в тебе не нуждаемся, поди прочь из наших законов, наших установлений, нашего образования?“ – Что же он? Пошел прочь, а вам сказал: „Держайте“. Из этого вышло то, что вам известно, включая прелестное царствование Робеспьера. Ваша Революция, сударь, есть не что иное, как великая и грозная проповедь, которую Провидение произнесло человечеству. В проповеди этой два положения: *Злоупотребления порождают революции* – это первое положение, и адресовано оно правителям; *Но злоупотребления куда лучше революций* – это второе, и оно адресовано подданным» [Maistre 1858: 105].

Содержание этой реплики не оригинально; это – одна из главных мыслей местровских «Рассуждений о Франции». Интересно – и важно для нашей темы – другое: Местр без всякого

<sup>5</sup> Здесь и далее цитаты из писем Местра даются в моем переводе, поскольку в издание [Местр 1995] вошли далеко не все интересующие меня фрагменты.

<sup>6</sup> 1/13 октября 1812 года он, сообщив шевалье де Росси о своем разговоре с князем Козловским, который тот пересказал многим петербуржцам, прибавляет: «...а поскольку фразы мои, если я постарался их отделать, довольно быстро обходят весь город...» [Maistre 1884–1886: 12, 245]. Ценил Местр эту способность к порождению «ослепительных максим» (выражение из примечания к первой беседе «Санкт-Петербургских вечеров», сказанное здесь по поводу Фенелона) и у других авторов; ср. нескрываемое восхищение, с которым Местр в другом примечании к той же беседе припоминает знаменитую фразу о «коне и всей конюшне», сказанную по поводу несправедливого смертного приговора протестанту Каласу, вынесенного Тулузским парламентом: «...Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается... – Отлично, – возразил герцог А..., – но целая конюшня!» [Maistre 1993: 1, 124, 122; Местр 1998: 33–34; здесь и далее цитаты из «Санкт-Петербургских вечеров» даются по этому изданию с небольшими исправлениями].

труда, совершенно естественно использует этот выразительный пассаж из серьезного политико-философского сочинения в светском разговоре.

Другой пример почерпнут из письма Местра к сардинскому королю от 1811 года. Местр рассказывает Виктору-Эммануилу историю шведского посланника фельдмаршала Стединга, который «страдал от тиранства правительства, друзей и обстоятельств», но более всего от собственной жены. Он пытался в завуалированной форме объяснить Местру, что в своем доме он не хозяин; в ответ Местр рассказал ему историю пьемонтского дворянина, чей прекрасный особняк грешил некоторыми изъянами; другу, который осведомился, в каком стиле выполнен фасад, бедняга ответил: «в стиле моей жены». Маршал расхохотался и потом не раз говорил Местру, что навечно запомнил этот архитектурный стиль [Maistre 1884–1886: 12, 24].

В обеих этих репликах (равно как и тех, которые сохранила в своих мемуарах госпожа де Сталь) Местр охотно играет словами; так он нередко поступал не только в устной речи, но и в своих сочинениях, о чем свидетельствует хотя бы одна из самых известных его фраз, содержащаяся в «Рассуждениях о Франции»: «контрреволюция отнюдь не будет *противоположной революцией*, но явится *противоположностью революции*» [Maistre 1989: 201]<sup>7</sup>. Обе реплики рассчитаны на запоминание и повторение пораженными и восхищенными слушателями, что зачастую и происходило: об успехе фразы насчет «стиля жены» мы знаем от самого Местра, что же касается пассажа о злоупотреблениях и революциях, то ему тоже была суждена долгая жизнь в памяти местровских собеседников; в частности, он почти точно повторен Софьей Петровной Свечиной среди «отрывков из разговоров графа де Местра» [Swetchine 1860: 1, 160]<sup>8</sup>.

Собеседники Местра помнили его парадоксальные и острые реплики-сравнения через много лет после того, как они были высказаны. Князь П. Б. Козловский, лично общавшийся с Местром только в течение нескольких месяцев в Петербурге в 1812 году, а затем в 1817–1819 годах в Турине, через 14 лет после смерти Местра, 26 декабря 1835 года писал В. А. Жуковскому: «Люди, *говорил мне старик Мейстер*, от природы умные, всегда деятельные, видящие перед собой блестящую будущность, имели несчастье вбить себе в голову, что добры только дураки. Вас обожают. Внезапно двери для вас закрываются. Вы спрашиваете, отчего? Ответа нет. Вы клянетесь, что если согрешили, то, честное слово, помимо воли и даже сами того не зная. Но вам ничего не объясняют. Догадывайтесь сами, а покамест трепещите, трепещите всякий день и всякий час, бойтесь потерять общество для вас драгоценное» [Козловский 1835: 2; ориг. по-фр., кроме слов, выделенных курсивом].

Конечно, в разговорах Местр блистал не только эффектными афоризмами и игрой слов, но и эрудицией (как замечает Сент-Бёв, Местр гордился своей превосходной памятью и «имел привычку сравнивать свой мозг с большим комодом, где в многочисленных нумерованных ящиках хранятся запасы исторических, поэтических, филологических и естественно-научных фактов, к которым он прибегает во время беседы» [Sainte-Beuve 1843: 315]), однако острое словцо оставалось его излюбленным «оружием». Местровские остроты и афоризмы производили впечатление даже на людей, менее всего склонных к словесным играм такого рода. Так, упомянутая выше степенная и возвышенная католичка Свечина занесла в свой альбом фразу Местра, в которой этот дух светского остроумия проявился в полной мере: «Турки держат женщин под замком и прекрасно себя чувствуют, – говорил лорд Байрон. Граф де Местр отвечал на это: Да, женщинам надобны либо четыре стены, либо четыре Евангелия». Другую фразу Местр вписал в альбом Свечиной собственной рукой: «Дети принимают дела за игрушки, взрослые принимают игрушки за дела. Не так ли, сударыня?» [Swetchine 1860: 1, 164–165].

<sup>7</sup> Другой перевод этого афоризма см.: [Местр 1997: 169]; об этой фразе см.: [Бартеле 2012].

<sup>8</sup> Те же слова повторил и Сент-Бёв в своем «портрете» Местра [Sainte-Beuve 1843: 374], но, как отмечает издатель сочинений Свечиной граф де Фаллу, «в форме менее живописной» [Swetchine 1860: 1, 160].

Даже в этих невинных и непритязательных фразах очевидно стремление Местра заострить мысль, блеснуть фразой, поразить собеседника парадоксальным сближением далеких идей (то, что сам Местр называл, ведя речь уже о делах серьезных, «бросить кость» светской публике)<sup>9</sup>. Этой цели служили не только местровские каламбуры и парадоксы, но еще и сравнения фактов нравственного мира с фактами мира физического. Сам он в первом из писем об народном образовании в России назвал это «аргументами, которые можно пощупать руками» [Maistre 1884–1886: 8, 169], а в письме к Бональду от 1/13 декабря 1814 года обосновал этот свой способ аргументации:

Физический мир есть не что иное, как образ или, если угодно, повторение мира духовного: поэтому, изучая один, можно одновременно познавать и другой. Капля воды, умещающаяся в девичьем наперстке, способна, будучи превращена в пар, взорвать бомбу. То же самое происходит и в мире духовном: возьмем мысль, мнение, согласие умов; в обычном состоянии они остаются мыслью, мнением и согласием умов, но стоит их раскалить, и эти спокойные чувства обращаются в энтузиазм, фанатизм, одним словом в страсть (добрую или злую), а приняв эту новую форму, способны двигать горами [Maistre 1851: 1, 242]<sup>10</sup>.

«Аналогизм» местровской мысли уже становился предметом рассмотрения исследователей, которые давали ему диаметрально противоположные оценки: Робер Триомф видит в нем улику, позволяющую обвинить Местра в лицемерии и различить в его спиритуализме «утонченный материализм»<sup>11</sup>; Пьер Глод [Glaudes 1997: 24–25], напротив, считает «аналогизм» инструментом местровской мысли, позволяющим приблизиться к истине (взгляд, по нашему мнению, гораздо более тонкий и верный). Впрочем, оба – и гневный обличитель, и тонкий аналитик – черпают примеры в основном из крупных философских трактатов Местра, таких как «Рассуждения о Франции» или «Санкт-Петербургские вечера»; между тем для наших целей важнее показать, как активно использовал Местр тот же самый прием *в разговорах*, стремясь, с одной стороны, разъяснить свою мысль, что называется, «на пальцах», но в то же самое время – удивить и ошеломить слушателя.

О том, как это происходило, мы можем узнать и из свидетельств очевидцев, и из писем самого Местра. 10 января 1807 года начинающий литератор С. П. Жихарев записал в дневнике:

Граф де Местр точно должен быть великий мыслитель: о чем бы ни говорил он, все очень занимательно, и всякое замечание его так и врезывается в память, потому что заключает в себе идею, и сверх того, идею прекрасно выраженную; например, говоря о некоторых своих знакомых из высшего круга, он сказал, что очень любит и уважает их, а между тем видится с ними редко, потому что характеры их, как некоторые химические тела, очень хороши сами по себе, но никогда не соединяются с другими [Жихарев 1955: 318]<sup>12</sup>.

Другую реплику Местра, построенную по той же схеме, мы знаем из его собственного донесения королю Сардинии от 26 февраля / 10 марта 1810 года. Сообщив, что его письма можно, ничем не рискуя, опубликовать хоть в Париже, хоть в Петербурге, хоть в Кальяри, Местр продолжает:

<sup>9</sup> Слова, которыми Местр в письме к издателю книги «О папе» резюмировал свое отношение к парижским читателям; процитированы Сент-Бёвом в его очерке о Местре [Sainte-Beuve 1843: 372].

<sup>10</sup> Ср. сходную формулировку в «Четырех главах о России» [Maistre 1859: 93].

<sup>11</sup> Выражение Кюстина [Custine 1956: 241], которое Триомф поставил эпитафией к своей книге; см.: [Triomphe 1968]. О местровских метафорах см.: [Triomphe 1968: 592–596].

<sup>12</sup> Эта метафора, почерпнутая из химии и проводящая параллель между феноменами психологическими и химическими, в наследии Местра не единична; он прибегал к ней и в переписке; см., например: [Maistre 1884–1886: 9, 364].

Тем, кого удивляет мой прямой и уверенный тон, я отвечаю сравнением, кажущимся мне справедливым. Я говорю, что, когда бы в кармане у меня был кинжал или пистоль, я бы не желал, чтоб кто-нибудь приближался ко мне, садился со мною рядом и меня ощупывал; но поскольку я знаю, что в карманах у меня только носовой платок и записная книжка, я готов вывернуть их перед всяким, кому любопытно их содержимое [Maistre 1884–1886: 11, 409]<sup>13</sup>.

В письме к шевалье де Росси от 15/27 августа 1811 года Местр с помощью того же «сравнительного» метода оспаривает новые законы Сперанского:

Есть вещи правильные и справедливые, которые, однако, не следует произносить и тем более – писать. Если бы меня спросили: должен ли отец распечатывать письма сына, – я ответил бы: «Разумеется!..» Но если вы зададите мне вопрос *in concreto*, как выражаются в школе: «Рекомендуете ли вы мне распечатать вот это письмо моего сына, кажущееся мне подозрительным?», я отвечу вам: «Папенька, Боже Вас сохрани от такого поступка: потеряете вы наверняка много, а выиграете очень мало или совсем ничего» [Maistre 1884–1886: 12, 55–56].

Сходный аргумент-сравнение, включающий в себя бытовой анекдот, находим в письме к адмиралу Чичагову от 17/29 января 1810 года:

Должен ли (иначе говоря, может ли) человек всегда делать то, что ему угодно? Частенько я вспоминаю словцо, которое было сказано однажды на балу в Филадельфии одной барышне, которая вместо того, чтобы занять свое место в кадрили, болтала с понравившимся ей кавалером. Так вот, некий тамошний церемониймейстер сказал ей с самым суровым видом: «Барышня! Вы что же, забавляться сюда пришли?» Наша жизнь – точь-в-точь этот бал. Мы явились на свет вовсе не для того, чтобы забавляться, а для того, чтобы танцевать кто что умеет: один – менуэт, другой – вальс и проч. Сколько бы мы ни говорили: «Я устал, мне не с кем танцевать, *партнер* у меня увалень, оркестр фальшивит и проч.», – все это ровно ничего не значит: танцевать надо непременно, и уволен от этого лишь тот, кто танцевать не умеет [Maistre 1884–1886: 11, 395].

Тому же адресату Местр сообщает в письме от 17/29 января 1810 года, что на великий вопрос, вращается ли Земля вокруг Солнца, наилучшим ответом был бы тот, который дал садовник из его родного края: «Конечно же, это Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот; ведь никто не станет вращать огонь вокруг жаркого» [Maistre 1884–1886: 11, 396]<sup>14</sup>.

В письме Яну Потоцкому от 16/28 октября 1814 года в той же образной манере изображена наука —

грандиозный пикник, в котором каждый принимает участие, готовя собственное блюдо. Все блюда должны быть вкусны – об этом участники обязаны позаботиться; но далеко не каждый участник может изготовить любое блюдо, какое пожелает: омлет готовит лишь тот, кто запасся яйцами [Maistre 1884–1886: 12, 457].

Дочери Констанции Местр в 1808 году объясняет, отчего женщины не должны стремиться подражать мужчинам, с помощью следующего образа:

---

<sup>13</sup> Неточно процитировано Сент-Бёвом [Sainte-Beuve 1843: 369].

<sup>14</sup> Образ, запавший в память русскому католику Августину Голицыну [Golitsyn 1863: 73].

Есть у меня тут собачка Бириби, которую все обожают; но если бы ей взбрело в голову впрячься в карету, чтобы повезти меня за город, я был бы так же недоволен ею, как был бы недоволен английским жеребцом твоего брата, если бы жеребец этот вздумал прыгнуть ко мне на колени, когда я пью кофе. Иные женщины полагают, что они обязаны блистать теми же достоинствами, что и мужчины. И совершенно напрасно. Вспомни про собачку и жеребца [Maistre 1884–1886: 11, 147].

Кони дают Местру материал для другой метафоры:

Лошадь кажется мне выразительной эмблемой армии: она охотно покоряется умелому наезднику, который ее приручил, но если ее хочет оседлать наездник неумелый, она сбрасывает его на землю. Именно в этом и заключалось несчастье последнего шведского короля<sup>15</sup>: он хотел *оседлать скакуна*; нужно было оставить его в стойле или доверить умелому наезднику (письмо к шеваље де Росси от 20 августа/1 сентября 1810 года) [Maistre 1884–1886: 11, 474].

Примеры можно было бы умножить: Местр очень любил объяснять свою мысль и поражать умы собеседников с помощью подобных сравнений, объясняющих большое через малое, и сам очень гордился своими успехами на этом поприще.

Современники, прекрасно осознававшие эту особенность его стиля, далеко не всегда были от нее в восторге. Так, критик Фелетц писал в 1821 году в рецензии на свежевшедшие «Санкт-Петербургские вечера»: «Хотелось бы также, чтобы г-н де Местр не сравнивал молитву то с хинином, то с кабестаном, то с пожарным насосом» [Maistre 2005: 761]. Впрочем, верные поклонники Местра судили иначе; так, Шарль Бартеlemi, автор книги «Избранные мысли графа Жозефа де Местра», объясняет «чудесный успех „Санкт-Петербургских вечеров“» их «парадоксальной и диалогической формой»: «Парадокс – такое рассуждение, которое преувеличивает общераспространенные заблуждения, чтобы лучше показать их бессмысленность или опасность, а порой и обе вместе. Это своего рода микроскоп, который увеличивает предмет и позволяет нам изучить его в мельчайших подробностях» [Barthélemy 1859: 138]. Именно так Местр и поступает, когда пускает в ход «аргументы, которые можно пощупать руками»: использует неожиданную и эффектную метафору, которую притом помещает в конце монолога и/или абзаца, чтобы она прочно впечаталась в память слушателя/читателя.

Между прочим, самой своей известностью среди современников и потомков Местр, по всей вероятности, не в последнюю очередь обязан большому числу эффектных максим, рассыпанных по его философским сочинениям и вошедших впоследствии в многочисленные антологии и словари цитат. Не случайно Сент-Бёв сравнивал его с таким общепризнанным мастером светского остроумия, поставленного на службу монархическим идеям, как Ривароль [Sainte-Beuve 1849: 732], упомянутый выше Августин Голицын восхищался «сжатостью и оригинальностью его максим», внятных всем и каждому, благодаря чему автор самой ничтожной брошюры не обходится без цитат из его сочинений [Golitsyn 1867: 71], а педант Ламартин хотя и был недоволен «уловками» Местра и его парадоксами, но признавался в воспоминаниях, что, презирая эти «приманки для возбуждения любопытства», все же скрепя сердце поддавался их обаянию [Lamartine 1871: 185–186]. П. Глюд в специально посвященной этому статье [Глюд 2012] перечисляет черты, отличающие Местра от другого философа-традиционалиста, во многих отношениях к нему близкого; к этим чертам я бы добавила еще одну: Бональду была чужда афористическая манера Местра. Именно этим, среди прочего объясняется диагноз, поставлен-

<sup>15</sup> Густав Адольф IV (1778–1837), в 1809 году отрешенный от власти в результате заговора, в котором участвовали высшие офицеры.

ный еще в 1843 году Сент-Бёвом: «никто нынче не читает Бональда, но его вольного и язвительного соратника читают так, словно книги его написаны сегодня» [Sainte-Beuve 1843: 382]<sup>16</sup>. Многие афоризмы Местра «вошли в пословицы»; таковы и фраза о народе, который имеет то правительство, которое заслуживает [Maistre 1884–1886: 12, 59; письмо к шевалье де Росси от 15/27 августа 1811 года], и печально известное определение палача как краеугольного камня общества, и фраза из тех же «Санкт-Петербургских вечеров» о необходимости воздвигнуть статую Вольтера рукою палача, и запомнившаяся госпоже де Сталь фраза о «русском желании», и образ грозящего России «университетского Пугачева» [Maistre 1859: 27], и уже упоминавшееся определение контрреволюции, которая «должна быть не противоположной революцией, но противоположностью революции», и фраза из письма к Алексису де Сен-Реалу от 22 декабря 1816/3 января 1817 года: «Не знаю, какова жизнь подлеца, я им никогда не был, но жизнь порядочного человека чудовищна» [Maistre 1884–1886: 14, 11]. В одном из наиболее полных французских словарей цитат Бональд представлен 11 цитатами, а Местр – целыми тремя десятками [Oster 1970: 672–673, 665–668]<sup>17</sup>.

Такое восприятие Местра как автора блестящих фраз характерно не только для французов, но и для русских литераторов и философов XIX века; не будем касаться местровских суждений о палаче, которые – с одобрением или, чаще, с осуждением – упоминали Пушкин и Бестужев (Марлинский), А. И. Тургенев и Герцен<sup>18</sup>, приведем несколько менее известных ссылок на эффектные афоризмы Местра. Например, идейный противник Местра славянофил Ю. Ф. Самарин в статье 1863 года «Как относится к нам Римская церковь?», осуждая старую Европу за то, что она «покончила с религиею» и забыла про Бога, прибегает к помощи Местра и цитирует в оригинале его выражение, которое называет «счастливым и глубоким»: «Le monde sera sauvé quand les Anglais deviendront catholiques et quand les Français, qui sont catholiques, redeviendront chrétiens» (Мир будет спасен в тот день, когда англичане сделаются католиками, а французы, католиками уже являющиеся, вновь сделаются христианами. – *фр.*) [Самарин 1996: 524]. Местр, по мнению Самарина, не понимал, что тем самым произносит «смертный приговор латинской религии», но самому Самарину непонятливость его идейного противника не мешает пользоваться его афоризмом, и притом с нескрываемым восхищением.

По совсем другим, менее возвышенным поводам, и часто неточно, но всегда с явным уважением цитирует фразы Местра А. О. Смирнова-Россет: «Я сам беден, но всегда берегу медные деньги для нищих. Г. де Мэстр так говорил»; «Вольтер меня просто забавляет. – В добрый час, я рад, что вы так хорошо судите об этом кощунственном шуте, как говорит Жозеф де Местр»; «Париж, как говорит де Местр, великая вавилонская блудница» [Смирнова-Россет 1989: 376, 427, 541]<sup>19</sup>. На мысли Жозефа де Местра ссылается даже Горький в «Жизни Клима Самгина» [Горький 1987: 259, 417]. Точность цитат в данном случае принципиального значения не имеет: важнее тот факт, что «мудрые» и «остроумные» мысли (или, во всяком случае, выдаваемые за таковые) приписывают Местру, – это значит, что в сознании потомков за ним прочно закрепилась репутация остролова и творца афоризмов.

Казалось бы, все сказанное позволяет ответить на вопрос, был ли Местр мастером светской беседы, положительно: он несомненно был мастером эффектной реплики, основанной на парадоксальном сопоставлении макро- и микромира, и многочисленные следы этого его

<sup>16</sup> С Сент-Бёвом согласен и современный исследователь: «Решительно, граф де Местр с его дерзким воображением <...> совсем не похож на виконта де Бональда, чей ум Шатобриан сравнивал „с наглухо закрытой темницей, куда не проникает ни единый луч света“» [Valade 1990: 307].

<sup>17</sup> Кстати, быть может, не так случайно и то обстоятельство, что Местр вошел в историю с эффектным определением, придуманным не им, но для него: «пророком минувшего» назвал его философ П.-С. Балланш [Ballanche 1827: 204].

<sup>18</sup> См. подробнее: [Мильчина 2005].

<sup>19</sup> В последней фразе можно различить отголосок знаменитой фразы о Вольтере из четвертой беседы «Санкт-Петербургских вечеров»: «Париж увенчал его лаврами – Содом бы его изгнал» [Местр 1998: 188].

мастерства обнаруживаются и в его серьезных сочинениях, и в его письмах, и в свидетельствах мемуаристов, запечатлевших некоторые из его устных монологов.

Беседы его безусловно были блестящими, но были ли они *светскими*, а вернее сказать, отвечали ли они тому идеалу светской беседы, какой рисовали авторы многочисленных трактатов об искусстве беседы в XVII–XVIII веках?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует коротко обрисовать тот идеал классический беседы, какой сложился в названный период. Идеальная беседа понималась как искусство высказать собственную мысль, не обидев никого из слушающих; мастеру такой беседы в не меньшей степени, чем словесный блеск, были необходимы умение уступать, способность избегать конфликтов, искусство «забывать о себе и покоряться другому» [Montandon 1997: 149]<sup>20</sup>, «ловко хвалить и говорить вещи, приятные для собеседника» [Lilti 2005: 284–285]. Ключевые слова в описании такой беседы – предупредительность по отношению к собеседнику, учтивость, предписывающая согласовывать свои слова «со вкусом, характером, нынешним расположением тех, с кем говоришь» («Опыт о различных предметах литературы и морали» аббата Никола Трюбле, 1735), кротость и снисходительность («Опыт о необходимости и способах нравиться» Паради де Монкрифа, 1738), тонкое чутье, позволяющее «воздержаться от всего, что способно неприятно поразить» («Картина Парижа» Л.-С. Мерсье, 1781–1789), и, наконец, искусство избегать каких бы то ни было преувеличений: чрезмерной серьезности, чрезмерного остроумия и колких реплик, которые аббат Морелле, автор трактата «О беседе» (1812), называет «бичом любого приятного разговора» [Art de la conversation 1998: 231–232, 280, 396, 435–437].

Конечно, беседа такого рода была в определенной мере утопией, идеалом уже в то время, когда создавались процитированные трактаты [Craveri 2002: 10]; еще больше отдалилась она от этого идеала в XIX веке, в послереволюционную эпоху. О том, каким нетерпимым мог предстать перед собеседниками человек, имеющий репутацию (заслуженную!) блестящего салонного оратора, свидетельствует мемуарный фрагмент уже упоминавшегося поэта Шендолле, который в бытность свою начинающим литератором-эмигрантом оказался вместе с приятелем в Гамбурге в гостях у прославленного Ривароля (того самого острослова, которому Сент-Бёв считал возможным уподобить Местра) и получил возможность выслушать его нескончаемый монолог: «...эту новую идею он развил, пустив в ход красноречие еще более удивительное, чем прежде; то было истинное волшебство. Мы с г-ном де Ла Треном робко попытались высказать некоторые возражения, но они были немедленно отвергнуты с величайшим высокомерием. В споре Ривароль был резок, вспыльчив, пожалуй, даже груб. – Что за ребяческие замечания! – восклицал он и продолжал свою речь, усыпая ее образами еще более изумительными» [Rivarol 1963: 292].

Правда, и в XIX веке оставались люди, которые поддерживали традиции беседы учтивой и щадящей чувства и убеждения собеседника; как пример салона, где эту традицию бережно хранят, современники приводили, в частности, салон госпожи Рекамье в Аббей-о-Буа, где «взорам гостей представало зрелище едва ли не более удивительное, чем любая из парижских достопримечательностей: мирная и едва ли не дружеская беседа людей самых разных убеждений, которые, собравшись в комнате шириной десять и длиной двадцать футов, забывали о своих распрях» [Мильчина 2019б: 167]<sup>21</sup>.

Но не таков был Местр. То, что мы знаем о его манере вести светскую беседу и салонный спор (не говоря уже о спорах, так сказать, виртуальных, литературных, в ходе которых он без-

<sup>20</sup> См. также: [Fumaroli 1994: 113–210].

<sup>21</sup> Слова герцогини д'Абрантес из очерка о салоне г-жи де Рекамье, опубликованного в первом томе сборника «Париж, или Книга Ста и одного» (1831). О продолжении тех же традиций в парижских салонах 1830–1840-х годов см: [Жирарден 2009: 414–425]; о попытке перенести этот идеал светской уступчивости в пространство многотомного сборника очерков см.: [Мильчина 2019б: 161–211].

жалостно обрушивался на своих противников – Локка или Бэкона – и поражал их ядом своих сарказмов), заставляет нас предполагать, что Местр не слишком отличался от Ривароля, каким его запомнил Шендолле.

Мастер *светской* беседы ни на чем не настаивает и ничего не доказывает, Местр же всегда стремился настоять на своем и доказать свою мысль (именно с этой целью он преподносил восхищенным слушателям свои «аргументы, которые можно пощупать руками»). Он не просто *обращался* к собеседникам с рассказами, он *обращал* их в свою веру (в прямом и переносном смысле слова) и именно для этого прибегал к блестящим метафорам и парадоксальным сравнениям. Острое словцо Местр употреблял чаще всего с целями дидактическими. Одним из первых это его свойство заметил С. П. Жихарев, записавший в дневнике 26 февраля 1807 года:

Умные красноречивые люди увлекательнее всякой книги: читая книгу, ты имеешь время поразмыслить и остеречься, а живое слово действует так внезапно, что не успеешь и опомниться, как ты уже в его власти. Вот хотя бы, например, и старший граф де Местр, сардинский посланник: я не хотел бы остаться с ним неделю один с глазу на глаз, потому что он тотчас бы из меня сделал прозелита. Ума палата, учености бездна, говорит как Цицерон, так убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами; а если поразмыслить, то, несмотря на всю христианскую оболочку, которою он прикрывает все свои рассуждения (он иначе не говорит, как рассуждая), многое, многое кажется мне не согласным ни с тем учением, ни с теми правилами, которые поселяли в нас с детства. <...> Из разнообразного, живого и увлекательного его разговора я успел схватить на лету несколько идей, поразивших меня своею новизною. Он утверждал, что «почти во всех случаях жизни надобно опасаться более друзей, чем врагов своих, потому что последние, по крайней мере, не введут вас в заблуждение своими советами, и что сознание нашего ничтожества должно поверять одному только Богу, но перед людьми скрывать его во избежание их презрения» [Жихарев 1955: 390–391].

Жихарев видел Местра всего несколько раз, но сходное ощущение от манеры Местра вести разговор возникало и у людей, знавших сардинского посланника гораздо более близко. Прасковья Николаевна Фредро, дочь графини Варвары Николаевны Головиной, в чьем петербургском салоне Местр был завсегдатаем, вспоминает о его «резком, повелительном тоне» и сообщает, что «в споре он не имел привычки выказывать ни такта, ни предупредительности и сообщал результаты своих длительных размышлений, нимало не заботясь о том, к какой легкомысленной, невежественной и предубежденной публике он обращается» [Maistre 2005: 149]<sup>22</sup>.

Примерно о том же пишет в «Мемуарах» и графиня Розалия Ржевуская, также хорошо знавшая Местра:

Чуждый жалости к заблуждениям, граф преследовал их как заклятого врага, заставляя отступать все дальше и дальше. Он не терпел возражений и ниспровергал их тоном решительным и резким. <...> Увлекаемый собственными убеждениями, он всей душою предавался делу, которое защищал, а с теми, кто пытался ему противоречить, был почти груб. <...>

---

<sup>22</sup> Между прочим, аббат Морелле в своем трактате «О беседе» особенно пылко осуждает то, что он именует «педантством», а именно манеру «возвышать голос, говорить резким и начальственным тоном, диктовать свои взгляды и выносить суждения с уверенностью школьного учителя, обращающегося к школярам» [Art de la conversation 1998: 431].

Загляните в «Санкт-Петербургские вечера», и вы найдете там образцы этих шуток, по большей части язвительных и немилосердных [Rzewuska 1939: 42].

А вот отрывок из мемуарного очерка о Местре, написанного А. С. Стурдзой:

Прозелитизму умеренность противопоказана. <...> Чтобы преуспеть в обращении колеблющихся умов и женских душ, не требовалось такого резкого и неумолимого догматизма, который не столько смягчало, сколько слегка прикрывало очарование речей графа де Местра; довольно было той ловкости, с которой он пускал в ход блистательное оружие софизма и парадокса, портящее лучшие его сочинения. В салонах Свечиной и Головиной я часто видел, как он, по праву завоевания, ощущал себя хозяином положения и уже нимало себя не ограничивал; в других домах, например, у адмирала Чичагова, которого он любил, несмотря на скептицизм этого последнего, наш оратор вел речи более сдержанные. <...> Тогда беседа превращалась в рыцарский турнир, в поединок, участники которого чуждались режущего оружия и получали награды от дам [Stourdza 1859: 178–179].

Но так «рыцарски» Местр, по мнению Стурдзы, вел себя далеко не всегда. Петербургским собеседникам сардинского посланника вторит Ламартин:

Диалог был не в характере г-на де Местра: разговор его представлял собой нескончаемый монолог. Он говорил много и долго, но запас идей его никогда не иссякал; он наслаждался тем, что его слушают, а лишь только кто-то брался ему отвечать, задремывал, чтобы через пару минут проснуться и продолжить разговор [Lamartine 1871: 184].

Между прочим, эта манера Местра засыпать в самый разгар беседы (которая, по свидетельству П. Н. Фредро, и позволила госпоже де Сталь в бытность ее в Петербурге одержать победу в негласном соревновании с сардинским посланником) – еще одно доказательство существенного расхождения Местра с правилами светской учтивости: салонный оратор, который засыпает и не слышит ответа собеседника, с трудом может считаться истинно светским; конечно, сонливость Местра можно объяснить его преклонным возрастом, однако ни возраст, ни физическое состояние не мешали ему произносить пламенные монологи; они мешали только слушать [Maistre 2005: 150], что и отметил в своем очерке Сент-Бёв, подводя итог тому, что узнал о Местре от очевидцев:

Он был, как говорят, мил и любезен, но лишь только дело доходило до некоторых истин, запросто становился груб. Ему случалось говорить собеседникам – кстати, вполне способным его понять, но пытавшимся отстоять собственную точку зрения и, казалось, готовым оспорить его мнение: «Не постигаю, как вы можете этого не понять, *если у вас есть голова на плечах*». Было замечено, что в беседе он не спорил, а если даже спорил, не слушал ответов; он поочередно то очень оживлялся, то крепко засыпал: очень оживлялся, когда говорил сам, крепко засыпал, когда ему отвечали; но лишь только наступала тишина, он открывал глаза и продолжал свои речи, оживляясь еще пуще. В разговоре, как и в своих книгах, он всегда предпочитал атаку [Sainte-Beuve 1843: 370]<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> На мой взгляд, современные поклонники Местра выдают желаемое за действительное, когда утверждают, что автор «Вечеров» был оратором исключительно мягким и деликатным и никогда не имел ни малейшего желания «подчинять собеседника своим мнениям с помощью своего рода морального шантажа» [Alganje 2005: 807].

Аббат Морелле писал о том, что беседе необходимо «кроткое веселье»: веселым Местр бывал (это видно уже по тем почерпнутым из его писем сравнениям, которые мы привели выше), но вот кротостью как собеседник явно не отличался<sup>24</sup>.

Образ Местра как «агрессивного» и несветского собеседника расходится с той умиротворенной атмосферой, в которой ведут свои беседы о «земном правлении Провидения» персонажи «Санкт-Петербургских вечеров» и которая превосходно проанализирована П. Глодом, справедливо подчеркивающим ее *утопический* характер [Glaudes 1997: 104–108]<sup>25</sup>. Для своей книги Местр создал трех персонажей, собравшимся «не для споров, а для обсуждения» [Maistre 1993: 2, 528; Местр 1998: 535] и питающих ненависть к преувеличению, которое Сенатор именуется «ложью честных людей» [Maistre 1993: 2, 400; Местр 1998: 383]. Но сам автор «Вечеров» в реальных, а не идеальных салонах держался иначе. Кстати, и из «Санкт-Петербургских вечеров» можно выписать ровно столько же, если не больше, фраз, свидетельствующих о том, что их автор – вовсе не сторонник «кротких» методов вести беседу. Шевалье в третьей беседе настаивает: «Нужно говорить о том, что считаешь правдой, и говорить смело! Я бы хотел – чего бы это мне ни стоило – найти истину, и пусть даже она потрясет весь род человеческий, я выскажу ее людям прямо в лицо!» [Maistre 1993: 1, 213; Местр 1998: 159]. Кавалер молод и горяч; но примерно о том же толкует в пятой беседе и рассудительный Граф: «Не может быть философии без умения презирать возражения» [Maistre 1993: 1, 287; Местр 1998: 245]. А в десятой беседе в уста Шевалье вложен монолог с «фирменной» местровской метафорой, «которую можно пощупать руками» и которая довольно точно характеризует его манеру вести спор:

Если кто-то приближается к вам, желая повалить на землю, то вам будет недостаточно лишь застыть на месте и крепко стоять на ногах – придется ударить того, кто на вас нападает, и, если возможно, заставить его отступить. А чтобы перепрыгнуть через канаву, всегда нужно наметить себе ориентир подалеже от ее края, – иначе вы непременно в нее свалитесь [Maistre 1993: 2, 521; Местр 1998: 526].

Произнося свои монологи с пылом и пристрастием, Местр, при всем подчеркнутом традиционализме его философии, выказывал себя человеком нового, послереволюционного времени: именно в первой половине XIX века стало общим местом рассуждать о том, что Французская революция положила конец беседам, в которых царили предупредительность и уступчивость, что с нею в салоны ворвался «дух партий» [Deschanel 1857: 158–159], превративший их в «арены» [Lescure 1883: 340]. Современная политкорректность как некий новый извод «светской» взаимной предупредительности Местру, пожалуй, оказалась бы чужда; но постольку, поскольку наша эпоха – эпоха не только политической корректности, но и политических споров и распрей, постольку эффектный полемист и страстный оратор Местр остается современным если не в содержании своих речей, то в их форме.

<sup>24</sup> Между прочим, в теории Местр превосходно знал, как нужно себя вести человеку истинно светскому. В 1809 году он раздраженно писал шевалье де Росси о том, как неправильно ведет себя при сардинском дворе русский посланник князь Козловский: «Он, судя по описанию, какое я имел честь от Вас получить, плохо знает *систему своего двора*. Поведение его прекрасно это доказывает. Всякий умный человек обязан знать две вещи: 1) кто он такой; 2) где он находится. <...> Пусть он [Козловский] делается приятен двору, пусть посещает преимущественно те дома, какие двор почтил своим вниманием, пусть держится поодаль от англичан, но не *удаляется* от них, пусть завяжет связи с французами, но не *связывается* с ними, пусть остроумничает с моей сестрой, толкует о физике с ее мужем, а потом пусть отправляется домой спать. Если же он будет вести себя иначе, то свернет себе шею» (цит. по: [Pingaud 1917: 47–48]). Сам Местр, однако, этим правилам не следовал. О том, как использовали это его свойство современники-повесы, см. в этом сборнике статью «При чем тут Кондильяк?».

<sup>25</sup> Заметим, что это *утопическое* видение Петербурга в качестве *locus amoenus* хорошо оттеняется той вполне «кюстиновской» (задолго до Кюстина) язвительностью, с какой Местр описал нравы русского общества в разрозненных заметках, опубликованных в 1879 году И. С. Гагариным [Maistre 1879; Местр 2010].

## ПУШКИН И СТЕНДАЛЬ ГРАНИЦЫ ТЕМЫ

Проблеме «Пушкин и Стендаль» посвящено значительное число научных работ, в которых высказано немало соображений о близости двух авторов и о параллельности их творческих поисков<sup>26</sup>. Между тем достоверные сведения о знакомстве Пушкина с произведениями французского современника и об отношении к ним весьма немногочисленны. Известно, что весной 1831 года Пушкин читал «Красное и черное». Первый том этого романа он прочел в мае 1831 года и, отсылая книгу к Е. М. Хитрово, снабжавшей его произведениями новейшей французской словесности, «умолял» ее прислать ему второй том, присовокупляя, что от первого он «в восторге»<sup>27</sup>; второй том был прочтен в июне и удостоился гораздо более сдержанной оценки: «*Красное и черное* хороший роман, несмотря на некоторые фальшивые разглагольствования и некоторые замечания дурного вкуса»<sup>28</sup>. Собственно, этим достоверные сведения о реакции Пушкина на творчество Стендаля исчерпываются<sup>29</sup>. Соображения исследователей о возможном знакомстве Пушкина с другими произведениями Стендаля основываются на зыбких формулах «Пушкин не мог не знать», «мимо внимания Пушкина вряд ли мог пройти» и т. п.

Впрочем, степень доказательности у этих рассуждений различна. Если присутствие в поле зрения Пушкина книг «О любви» и «Расин и Шекспир» сугубо гипотетично, ибо нет решительно никаких сведений о том, что он эти книги читал<sup>30</sup>, то знакомство Пушкина со стендалевской «байронианой» (письмо Стендаля о его общении с Байроном в 1816 году и письмо Байрона к Стендалю от 29 мая 1823 года), на которое указала Т. В. Кочеткова [Кочеткова 1968: 114–123], представляется почти несомненным, поскольку книги, в которых увидели свет эти эпистолярные документы, имелись в библиотеке Пушкина, а интерес его к фигуре Байрона был неизменно велик. Более того, письмо Байрона к Стендалю было напечатано не где-нибудь, а в преамбуле Дельвига к публикации фрагмента из «Прогулок по Риму» в № 59 «Литературной газеты» (18 октября 1830). Однако знать текст еще не значит соглашаться с ним.

Для Стендаля Байрон велик постольку, поскольку забывает о своем благородном происхождении, напротив, идея представляться английским лордом, убежден Стендаль, не может не вызывать у человека, имеющего хоть сколько-нибудь гордости, справедливого отвращения: «Итальянцы удивлялись особенно тому, что сей великий поэт гораздо более уважал в себе потомка норманнских Баронов, которые сопутствовали Вильгельму при завоевании Англии, нежели автора *Паризины* и *Лары*. <...> В остальное время вечера великий человек до такой

<sup>26</sup> Библиографию см. в: [Вольперт 2004].

<sup>27</sup> Письмо к Е. М. Хитрово от второй половины (18–25) мая 1831 года: «Voici vos livres, Madame, je vous supplie de m'envoyer le second volume de rouge et noir. J'en suis enchanté» [Пушкин 1937–1959: 14, 166].

<sup>28</sup> Письмо к Е. М. Хитрово от 9 (?) июня 1831 года: «Rouge et noir est un bon roman, malgré quelques fausses déclamations et quelques observations de mauvais goût» [Пушкин 1937–1959: 14, 172]. Традиционно fausses déclamations переводят как «фальшивая риторика», но мне кажется, что слова «фальшивые разглагольствования» точнее передают пушкинскую мысль.

<sup>29</sup> В библиотеке Пушкина кроме «Красного и черного» имелся еще сборник «Додекатон, или Книга 12 авторов», в который вошла новелла Стендаля «Любовный напиток» [Модзалевский 1910: 226; № 886], однако поскольку сборник этот вышел в конце 1836 года (а на титульном листе вообще указан год 1837-й), о следах рецепции этой новеллы в пушкинском творчестве говорить не приходится.

<sup>30</sup> Соответствующие предположения объясняются, на мой взгляд, тем, что точку зрения пушкинских современников, для которых Бейль-Стендаль был одним из многочисленных французских литераторов, и притом далеко не самым известным, подменяет современная точка зрения, согласно которой Стендаль канонизирован как великий писатель. О том, насколько неустойчивой была репутация Стендаля на рубеже 1820/30-х годов, свидетельствует, например, разброс мнений касательно «Красного и черного»: если для Вяземского это «замечательное творение» [Пушкин 1937–1959: 14, 214; письмо к Пушкину от 14 августа 1831 года], то для Н. И. Тургенева это роман «в новом уродливом французском вкусе» [Тургенев 1831: 50; письмо от 1 октября].

степени походил на Англичанина и на Лорда, что я никогда не мог решиться у него отобедать, несмотря на приглашения, часто возобновляемые»<sup>31</sup>.

Относительно этих слов мы можем быть абсолютно уверены, что Пушкин их знал и помнил (хотя и не можем утверждать наверняка, что он помнил об их принадлежности Стендалю), поскольку ими открывается не только книга Т. Мура о Байроне<sup>32</sup>, но и очерк о Байроне самого Пушкина (1835): «Говорят, что Б[айрон] свою родословную дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве» [Пушкин 1937–1959: 11, 275]. Между тем именно то чувство, которое было «понятно» Пушкину и Байрону, оставалось непонятно демократу Стендалю<sup>33</sup>.

Представляется, что сходные сословные мотивы обусловили и скептицизм Пушкина по поводу «фальшивых разглагольствований» и «замечаний дурного вкуса» в «Красном и черном». Четырьмя годами позже в рецензии на произведение не французского, а русского автора Пушкин поставил диагноз, который, кажется, должен был считать верным и применительно к Стендалю или по крайней мере к его герою. Я имею в виду неоконченную и оставшуюся неопубликованной статью о «Трех повестях» (1835) Н. Ф. Павлова, написанную, по всей вероятности, незадолго до статьи о Байроне<sup>34</sup>. В поведении героя повести «Именины» (крепостного музыканта, выслужившего свободу в армии) Пушкин усмотрел «черты, обнаруживающие холопа»: «Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть – это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадетсЯ. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом?» – и вынес приговор этому герою, «видимо любимцу его [Павлова] воображения»: «Идеализированное лакейство имеет в себе что-то неестественное, неприятное для здравого вкуса» [Пушкин 1937–1959: 12, 9]<sup>35</sup>.

В герое «Красного и черного», крестьянине Жюльене Сореле (Стендаль многократно подчеркивает это его низкое происхождение), Пушкина должно было насторожить то же самое, что отвратило его от героя «Именин», – внутренние монологи «бунтующего плебея», для которого тщеславная радость оттого, что он покори́л сердце дворянки, порой оказывается важнее самой любви. Эту точку зрения плебея разделял и сам автор «Красного и черного»<sup>36</sup>, однако ее никоим образом не разделял Пушкин, который вообще мало интересовался психологией

<sup>31</sup> Цитирую перевод письма Стендаля, опубликованный в «Вестнике Европы» (1829. № 1. С. 69–70); оригинал (первая публикация стендалевского письма) см.: [Swenton-Belloc 1824: 1, 354].

<sup>32</sup> В пушкинской библиотеке книга Мура имела́сь во французском переводе; процитированную фразу см.: [Вугон 1830: 1, 1]; вариант Мура отличается от первоначального стендалевского текста заменой «Паризины» и «Лары» на «Чайльд-Гарольда» и «Манфреда». Отметим, что Мур – а вслед за ним и Пушкин – не упоминает авторства Бейля-Стендаля, а вводит цитату в безличной форме: «О Байроне было сказано...». Об автобиографическом подтексте начала пушкинской статьи см.: [Долинин 2007: 202–205].

<sup>33</sup> Ср. известный эпизод эпистолярной полемики с Рылеевым, который упрекал Пушкина в том, что он, в подражание Байрону, чванится пятисотлетним дворянством, а Пушкин не только не отрекался от этого чванства, но, напротив, уточнял, что дворянство его на сто лет «старее» [Пушкин 1937–1959: 13, 218].

<sup>34</sup> Статья о Павлове написана, скорее всего, в апреле 1835 года; см.: [Тархова 2002: 358–359; Хроника 2016: 118–119]. На первой странице рукописи статьи о Байроне выставлена дата 25 июля 1835 года.

<sup>35</sup> Приговор звучит особенно безжалостно, если учесть, что сам Павлов также родился в крепостном звании.

<sup>36</sup> Ср. проницательный анализ соответствующей позиции Стендаля в статье Ж. Старобинского «Псевдонимы Стендаля»: «Стендаль живет в эпоху, когда быть буржуа не позорно <...> Но Стендаль выбирает для себя суд аристократического общества. Вообще у Стендаля заметна ностальгия по либертинским удовольствиям знати XVIII столетия, то есть того мира, где ему не было бы места. <...> Стендаль страстно желает изменить свое социальное положение, не переставая мечтать о естественности, как о земле обетованной. <...> Когда он берется за перо, его цель – повысить свой престиж в обществе, а не создать литературное произведение. Литературная известность должна стать для него пропуском в высшее общество», куда он страстно хочет попасть, хотя столь же страстно это общество презирает [Старобинский: 427, 409; пер. П. Шкаренкова].

плебеев, а социальные мезальянсы в любви изображал только невсерьез, в маскарадном виде («Дубровский», «Барышня-крестьянка»)<sup>37</sup>.

Тем не менее чтение «Красного и черного» все-таки оставило след в пушкинском творчестве, однако и этот след, до сих пор, насколько мне известно, не отмеченный в научной литературе, носит полемический характер. В главе «Страсбург» (т. 2, гл. 24) русский князь Коразов, убедившись, что Жюльен чем-то подавлен, говорит ему: «Это уже просто дурной тон; вы что, разорились, потеряли все состояние или, может быть, влюбились в какую-нибудь актрису?» И далее Стендаль добавляет собственный комментарий: «Русские старательно копируют французские нравы, только отставая лет на пятьдесят. Сейчас они подражают веку Людовика XV» [Стендаль 1959: 492].

---

<sup>37</sup> «Арап Петра Великого» не в счет, поскольку своего предка Ибрагима Пушкин плебеем ни в коем случае не считал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.